

И. Н. Кубиков

**ОБЩЕСТВЕННЫЙ СМЫСЛ
ПОВЕСТИ «ДУБРОВСКИЙ».**

Повесть «Дубровский» уже в пору своего появления производила двойственное впечатление. Литературная критика далекой от нас эпохи единодушно отметила поразительно яркую картину жизни жестокого самодура Троекурова — представителя крупного помещичьего землевладения. Что касается молодого Дубровского, изображенного Пушкиным с примесью явной романтики, то этот образ был признан вымышленным, или, во всяком случае, маловероятным. Дубровский является в повести не только идейным разбойником, бросающим вызов окружающей среде, но и человеком исключительного чувства. Достаточно припомнить его объяснение в любви с Машей Троекуровой (гл. XII), дабы определить мелодраматический уклон в изображении героя повести, — уклон, отвечающий, правда, в значительной мере принятым литературным традициям эпохи тридцатых годов прошлого века.

Как известно, повесть, написанная в конце 1832 г. и начале 1833 г., появилась в печати только в 1841 г., т. е. четыре года спустя после смерти поэта и вошла в десятый том первого издания его сочинений. Давая краткую характеристику этому десятому тому, литературный обозреватель газеты «СПБ Ведомости» писал: «Другая (вполне почтенная) повесть «Дубровский» в истинном свете изображает быт наших богатых помещиков — седых вельмож екатерининского века. Троекуров — это настоящий русский барин XVIII столетия, гордый, упрямый, своенравный, блистающий роскошью из тщеславия, презирающий всех, кто ниже его по чину и богатству. Но молодой Дубровский кажется нам лицом не русской природы. Это какая-то смесь Фрадиаволо и Карла Моора...» Делая краткое

изложение некоторых глав повести, обозревателъ заканчивает: «Все это не весьма естественно, в родклифовском, а не в пушкинском духе. Впрочем, при прелести рассказа не весьма правдоподобное содержание этой повести занимательно в высшей степени». («СПБ Ведомости», 1841 г., № 259.)

Белинский на вышедший десятый том первоначально дал небольшую рецензию, в которой писал, между прочим, следующее: «Десятый том содержит в себе прозаические статьи. Из них повесть «Дубровский» совершенно новая и доселе неизвестная публике. Это одно из величайших созданий гения Пушкина. Верностью красок и художественною отделкою она не уступает «Капитанской дочке», а богатством содержания, разнообразием и быстротою действия далеко превосходит ее». («Отеч. Зап.», 1841 г. 1 17.)

Но этот безотговорочный отзыв Белинского говорит лишь о первом впечатлении великого критика. Пять лет спустя (1846), заканчивая в десятой статье свой известный обзор творчества Пушкина, критик уже ясно видит и в «Капитанской дочке» и в «Дубровском» преобладание «пафоса помещичьего принципа». По мнению критика, «Дубровский, несмотря на все мастерство, которое обнаружил автор в его изображении, все-таки остался лицом мелодраматическим и не возбуждающим к себе участия. Вообще вся эта повесть сильно отзывается мелодрамой. Но в ней есть дивные вещи. Старинный быт русского дворянства, в лице Троекурова, изображен с ужасающею верностью».

Не следует думать, что в этой окончательной оценке Белинский противоречил своему первоначальному мнению о повести «Дубровский» и обнаружил шаткость своих эстетических оценок. Здесь все дело в том, что критик в 1846 г. рассматривал повесть уже под определенным идеологическим углом зрения, наиболее ярко выраженном в его знаменитом письме к Гоголю. К некоторым особенностям взгляда Белинского на повесть Пушкина мы еще вернемся.

П. Анненков в своих известных «Материалах» к биографии и оценке произведений Пушкина также обращает внимание на невидержанность общего стиля повести. Устанавливая по обстоятельству, что «Дубровского» Пушкин писал всего в продолжение трех месяцев, даже карандашом, Анненков о повести говорит: «Эта быспропа сочинения объясняет некоторые перерывы и отчасти романтический конец ее, который разноречит с сущностью всего остального содержания, замечательного строгой верностью с действительным бытом и нравами описываемого общества. Пушкин нарисовал свою картину с особенной энергией, а в характере Троекурова явился глубоким психологом. Вся повесть его и теперь поражает соединением истины и поэзии». (П. Анненков, Пушкин. Материалы для его биографии, стр. 358.)

Таким образом не только литературная критика того времени, но и первый исследователь творчества Пушкина, уже подходя к нему как историк литературы, отмечает поразительную жизненность изображенного быта помещика Троекурова и весьма относительную верность изображения молодого Дубровского.

А между тем, несмотря на всю справедливость этих оценок, в облике молодого Дубровского можно найти черты, дающие представление об очень любопытном социальном явлении того времени.

Теперь уже достаточно известно, что Пушкин не просто выдумал своего героя, а имел для его создания прототип в подлинной жизни. По сообщениям Бартенева о Пушкине, недавно вновь вышедшим с обстоятельными комментариями М. Цявловского, мы знаем, что «Дубровский» внушен был Нащокиным. «Он рассказывал Пушкину про одного белорусского небогатого дворянина, по фамилии Островский (как и назывался сперва роман), который имел процесс с соседом за землю, был вытеснен из имения и, оставшись с одними крестьянами, стал грабить сначала подъячих, потом и других. Нащокин видел этого Островского в остроге». («Рассказы о Пушкине», записанные

П. Барпеневым, со вступительной статьёй и примечанием М. Цявловского, изд. 1925 г., стр. 27.) Из ныне опубликованных бумаг Пушкина видно, что в программе предполагаемого произведения везде у поэта стоит имя Островского.

С другой стороны, и имя Дубровского также могло быть подсказано Пушкину событиями из русской помещичьей действительности, хотя и более отдаленного прошлого. В небольшой заметке «Мелочи о Пушкине» И. Шляпкин сделал любопытное сообщение, взятое из архивов Псковской канцелярии. В этом сообщении дело идет о событии конца XVIII века. Мелкий и крупный помещики пребывали во взаимной вражде. Мелкопоместный дворянин по фамилии Дубровский самочинно послал своих крестьян в имение своего соседа, чтобы они привезли опшуда лес. Виновные в порубке не были найдены. «Тогда канцелярия отправила сержанта с солдатами с приказом взять или других крестьян Дубровского, или крестьян других вотчин для отыскания виновных. Крестьяне архиерейских вотчин отказались идти, а когда сержант отправился в другую деревню Дубровского, то человек десятъ скрывавшихся крестьян вышли из лесу с топорами и рогатиными и объявили, что если их будут ловить, то они его — сержанта — с рассыльными убьют или попопят в озере. При этом они заявили, что действуют так по наказу Дубровского, который писал, что если кто придет для поимки их, то, если поимщиков немного, бить их, а если много, то бежать в лес». («Пушкин и его современники», вып. XVI, И. Шляпкин, Мелочи о Пушкине, стр. 101—104.)

Таким образом, острое столкновение между крупным и мелким помещиком не только действительно имело место в подлинной жизни, но в некоторых, пусть редких случаях имело и те логические последствия, к которым это столкновение приводит в повести «Дубровский».

Литературный обозреватель газеты «СПБ Ведомости» 1841 г. не случайно сопоставляет Дубровского с Карлом Моором, ибо в том и другом случае разбойничество носит

идейный характер: экспроприированные стремятся как бы восстановить нарушенную справедливость. Здесь уместно припомнить те соображения по поводу «Разбойников» Шиллера, которые мы находим у К. Каутского и Ф. Меринга. Идею разбойничества «связано с определенными общественными отношениями... Оно появляется там, где именно крупные имения экспроприируют крестьян, а также мелких дворян, и где, с другой стороны, еще не возникла крупная капиталистическая промышленность, которая была бы в состоянии поглотить этих экспроприированных». (К. Каутский, К юбилею Шиллера, Гос. изд. 1920 г., стр. 7.) Не менее определенно об этом говорит Ф. Меринг: «Шиллер в разбойнике видел революционера, подобно Карлу Моору, мстящего за оскорбленное человечество негодяям, на которых всякий современник, читавший или видевший пьесу, мог указать пальцем. В экономически отсталых странах, где нет сильной крупной буржуазии, оппозиционно настроенной мелкой буржуазии и готового к борьбе пролетариата, способного противостоять деспотизму, бунтарски настроенные люди легко могут считать разбойничьи шайки единственной формой протеста против общества и государства». (Ф. Меринг, Мировая литература и пролетариат, изд. 1924 г., стр. 54.)

Эти черты сходства между К. Моором и Ринальдини, с одной стороны, и Дубровским — с другой, не могут скрыть от нас чисто русских бытовых черт, характерных для Дубровского как человека определенной эпохи, знаменующей социальное расслоение в пределах помещичьего класса.

Эта особенность Дубровского до сих пор осталась без рассмотрения, если не считать, как увидим ниже, вскользь брошенных замечаний проницательного Белинского.

Последним толкователем повести «Дубровский» является А. Яцмирский. Его интересная и содержательная статья помещена в IV томе сочинений Пушкина, изд. Брокгауза, под ред. Венгерова. Устанавливая степень возможных западных литературных влияний на Пушкина,

А. Яцимирский говорит о характере идейного разбойничества Дубровского почти то же, что говорят Каутский и Меринг по поводу Карла Моора. А. Яцимирский отмечает, что идейные разбойники «появляются только в эпохи несправедливости, когда они нужны бываюм бедному населению, угнетенным, лишенным правосудия; и как только социальные условия изменяются к лучшему, как только справедливость начинает восстанавливаться иными путями,— они исчезают куда-то, исчезают сами по себе, чтобы снова появиться, когда это будет необходимо». (Пушкин, изд. Брокгауза, т. IV, стр. 277.)

Дав в своей статье подробный перечень руководителей народных восстаний, направленных против господствующих классов, А. Яцимирский вместе со Степаном Разиным, Пугачевым и менее известными представителями народной массы гетов включить за одну скобку и Дубровского. Что для него Дубровский является выразителем настроений угнетенного народа, показывает далее следующее место его статьи: «Социальная правда «Дубровского» и образа самого Дубровского состоип именно во всем ужасе того порядка, который делает невозможным существование масс, развращает тех, кто владеет этими массами, и вызывает появление таких героев, которые своим благородством, идеализмом, рыцарством, душевной красотой приковывают к себе все симпатии масс. Это те разбойники-идеалисты, к которым с необыкновенной любовью относятся и русская усная песня, и чуткий к правде народ». (Там же, стр. 272.)

Верная во многих своих частностях статья А. Яцимирского в основном ошибочна, ибо спирает разницу между обиженным дворянином Дубровским и подлинными выразителями народного гнева типа Степана Разина и Пугачева.

Столкновение между Троекуровым и Дубровским ничего общего не имеет с борьбой класса угнетенных с классом угнетателей. Наоборот, весь конфликт носит исключительно характер внутриклассового антагонизма,— вот истина, ко-

порую пора признаться в ее полном объеме. Для Белинского отчепливо было видно, что крестьяне в этом конфликте Троекурова и Дубровского играют чисто вспомогательную роль, не являясь самостоятельной силой в своеобразной внутриклассовой борьбе. Белинский не развил подробно на этот счет своих мыслей, но все же в большой статье «Русская народная поэзия» он мимоходом бросил мысль, представляющую большую ценность. Говоря об удельной междоусобице князей русского средневековья, критик замечает: «Народ тут не играл никакой роли, не принимал никакого участия. Черниговцы дрались с киевлянами не по племенной ненависти, а по приказанию князей. В повести Пушкина «Дубровский» превосходно выражена удельная борьба в раздоре крестьян Троекурова и Дубровского: бары поссорились, а слуги начали драться, вытаптывать поля, бить скот и поджигать избы». (В. Белинский, Соч., т. II, изд. Павленкова, стр. 376.) Вот почему, исходя из этих вполне правильных соображений, Белинский в своей последней статье о Пушкине и говорит, что в повести «Дубровский» преобладает пафос помещичьего принципа.

А. Яцимирский напрасно считает справедливым удивление некоторых историков литературы на то, что повесть, хотя и с небольшими купюрами, все же могла появиться в 1841 г. Чтобы рассеять это недоразумение, мы приведем отзыв еще одного критика сороковых годов, который самым определенным образом признал моральную правоту поступков Дубровского. Отметив необычайную жизненность страниц повести Пушкина, этот критик продолжает: «Но из-за этого рассказа само собой выступает истина нравственная, придающая глубокое значение всей картине. Этот разбойник Дубровский, зачавшийся в человеке честном и благородном, есть плод разбойничества общественного, прикрытого законом. Всякое нарушение правды под видом суда, всякое насилие власти, призванной к устройству порядка, всякое грабительство общественное, посмеивающееся истине, порождает разбой личный, которым гражданин обиженный мстит за неправду всего тела

общественного. Вот та глубокая, нравственная идея, которая, хотя не высказана отдельно, но сама собою яснее из повести Пушкина и придает ей великую значительность».

Кто же этот критик, который, на первый взгляд, высказывает такие как будто революционные мысли? Этим критиком является... С. Шевырев — убежденный апологет царского самодержавия и ярый ненавистник Белинского. Этот свой отзыв о «Дубровском» он поместил в журнале «Москвитянин» за 1841 г., кн. 9-я, — в том самом журнале, где в этом же году Шевырев напечатал свою статью «Взгляд русского на образование Европы», проникнутую духом образцовой благонамеренности и восхитившую, как это видно из письма Погодина к Шевыреву, русскую аристократию того времени. Как же могло случиться, что бунтовщик Дубровский оказался морально оправданным в глазах крайнего монархиста Шевырева? Это могло произойти потому, что для Шевырева была ясна картина внутриклассового антагонизма; для него было отчетливо видно, что Дубровский отнюдь не собирается выступить разрушителем классовых основ самодержавно-полицейского строя жизни. Это же было, как мы видели, ясно и для Белинского. Но разница отношений Шевырева и Белинского к Дубровскому в том, что там, где Шевырев усматривал «глубоко нравственную идею», Белинский видел лишь «пафос помещичьего принципа». Отсюда весьма сдержанное, даже холодное отношение Белинского к Дубровскому, выраженное великим критиком в его последней статье о Пушкине.

Но для самого поэта, быстро, в продолжение трех месяцев, набросавшего карандашом «Дубровского», — повесть была своеобразной авторской исповедью. В ней он выразил свое определенное отношение к окружающим его социально-экономическим явлениям жизни. Это сказывается на всем характере художественной проработки Троекурова и Дубровского. Здесь вполне уместно применить слова Л. Толстого в предисловии к сочинениям Мопассана: «Что бы ни изображал художник — святых, раз-

бойников, царей, лакеев,— мы ищем и видим только душу самого художника».

На какой основе складывалось общественное настроение Пушкина — вот вопрос, который необходимо выяснить для полного и правильного понимания повести «Дубровский».

Уже в первой четверти девятнадцатого века наметилось резкое расслоение в недрах русского старого барства. Известный исследователь внутренних отношений русской жизни, А. Гакстгаузен указывает определенную дату, с которой начинается крушение некоторой части дворянского землевладения. Он отмечает: «С 1812 г. все изменилось. Дворянские дома сгорели, дворянство, понесшее большие потери, удалилось во внутрь страны и не имело уже более ни сил, ни средств на восстановление прежних зданий и на продолжение в них той же праздной жизни и роскоши»¹. Конечно, это только одна из причин начавшегося дворянского оскудения. Пушкин в своей статье «Мысли на дороге» говорит, что «обеднение Москвы доказывает и другое — обеднение русского дворянства, происшедшее частью от раздробления имений, исчезающих с ужасной быстротой, частью от других причин». При этом как Гакстгаузен, так и Пушкин отмечают сильный рост и значение торгово-промышленного класса. Гакстгаузен пишет: «Теперь на вопрос: Чей это дом? — получаешь ответ: фабриканта такого-то, купца такого-то, а прежде принадлежал князю такому-то, или такому-то» (Гакстгаузен, стр. 32). То же у Пушкина («Мысли на дороге»): «Купечество богатеет и начинает селиться в палатах, покидаемых дворянством».

Но это помещичье оскудение коснулось главным образом среднего и мелкого дворянства. Крупные землевладельцы даже укреплялись. «В промежуток времени от 1835 по 1857 г. помещики, имевшие 1000 душ, сильно умножились

¹ А. Гакстгаузен, Исследование внутренних отношений народной жизни и в особенности сельских учреждений России, стр. 32.

и увеличили свои имения». (Н. Рожков, Русская история, т. X, стр. 285.) «Правившее спраной крупное землевладение нашло для себя выгодным вступить в союз с буржуазией, союз, направленный, по крайней мере отчасти, против землевладения среднего». (М. Покровский, т. IV, стр. 22.)

Что же представлял собой этот крупный земельный собственник? Он меньше всего был родовитым аристократом. Об этих обломках старинных родов историк русского дворянства пишет: «Большая часть этих фамилий чрезвычайно обеднели, распались со своей родовой поземельной собственностью, исторически слившись с которой только и может держаться аристократия. А между прочим этого-то и не было с нашим дворянством. Как-стгаузен справедливо замечает, что весьма немногие аристократические фамилии в России сохранили свои родовые поместья: Шереметьевы, Строгановы, Голицыны, Воронцовы, Панины и проч.». (Романович-Словацкий, Дворянство в России, часть 2-я, стр. 25.)

В подавляющем большинстве случаев это были земельные аристократы сравнительно недавнего происхождения. Как говорит Романович-Словацкий, введенное Петром I «бюрократическое начало табели о рангах побивало аристократическое начало, развившееся в шляхетстве; чин одолевал породу».

Достаточно известно, что Пушкин, будучи по отцовской линии 600-летним столбовым дворянином, принадлежал по своему материальному положению к экономически падающей дворянской группе. Его письма на этот счет дают настолько исчерпывающий материал, что М. Н. Покровский в IV томе своей «Истории», говоря о задолженности дворянского землевладения эпохи тридцатых годов, указывает на Пушкина, как на типичного представителя «обедневшей части русского помещичьего класса.

После раздела имения на долю Пушкина пришлось 200 душ крестьян. Уже одно это весьма приближает его к той грани, за которой начинается даже не среднее,

а мелкое дворянство. По закону 1831 г., дворяне, имевшие менее 100 душ крепостных, не имели права непосредственного участия в дворянских собраниях, они лишь выбирали уполномоченных. По словам историка, «закон, касавшийся дворянского сословия, изданный с 1831 г., имел смысл сохранения дворянских привилегий за верхами дворянского общества с устранением от них дворянских низов». (Н. Рожков, т. X, стр. 186.) Но и эти 200 душ, приближавшие Пушкина к черте закона 1831 г., он вынужден был заложить за 38 тыс. руб., из которых за многими расходами на «годовое житье и обзаведение» ему осталось всего 17 тыс. (Письмо Пушкина к Плещеву, февр. 1831 г.)

Вряд ли является необходимостью цитировать многочисленные письма Пушкина, в которых дело идет о полном расстройстве его помещичьего хозяйства, о долгах ростовщикам и т. д. Достаточно сказать, что в бюджете Пушкина под конец жизни все большую роль начинает играть, помимо правительственной субсидии за исторические работы, непосредственный литературный заработок. Вот, например, отрывок из письма к жене от 2 сент. 1833 г. «Живо воображаю первое число. Тебя перебьют за долги Параша, повар, извозчик, аптекарь, т-т Zichler etc., у тебя не хватает денег, Смирдин перед тобой извиняется, ты беспокоишься, сердисься на меня — и поделом».

Плохие материальные обстоятельства все более заставляют Пушкина думать о переселении из столицы в деревню. Об этом он пишет Павлищеву за девять месяцев до смерти. Но, опасаясь неудовольствия властей и находясь во вредном для него семейном окружении, Пушкин вынужден был тянуться за высшим дворянством. Но ведь это «богатое, знатное и выслужившееся до больших чинов дворянство пренебрежительно даже среднесостоятельных, рядовых дворян и презрительно отбросило от себя дворянскую мелкоту». (Н. Рожков, т. V, стр. 187.)

Пушкин это, конечно, чувствовал. Его самолюбие и достоинство были уязвлены и оскорблены. Он прекрасно

знал, что среди этих новых аристократов были потомки самых ничтожных плебеев. Ему было известно, что помимо чиновничьей выслуги было много случаев в прошлом, когда вчерашний придворный певчий Разумовский становился первым лицом в государстве; Фуке, повар императрицы Елизаветы, был возведен в чин бригадира; Лука Чеспихин, придворный карла Екатерины I, был пожалован в майоры или в полковники; Захар Зотов был сначала камердинером у Попемкина, а потом у Екатерины II и т. д.

Имея в виду именно эту категорию нового знатного барства, Пушкин, материально приниженный потомок знатного рода, говорит в достаточно известных стихах:

Не торговал мой дед блинами,
Не ваксил царских сапогов,
Не пел с придворными дьячками,
В князья не прыгал из хохлов.
И не был беглым он солдатом
Австрийских преданных дружин;
Так мне ли быть аристократом?
Я, слава богу, мещанин.

Что оставалось делать Пушкину, представителю падающей категории помещичьего класса, как ни горько иронизировать над своим положением или хвататься за свою породу шестисоплетнего дворянина, как утопающий хватается за соломинку.

В отрывке «Гости съезжались на дачу» устами собеседника говорит сам Пушкин. Он отмечает, что древнее русское дворянство упало в неизвестность и составило род «трепёвого состояния»; «чернь, к которой я принадлежу, считает между своими родоначальниками Рюрика и Мономаха; но настоящая аристократия наша с трудом может назвать и своего деда. Древность их не восходит до Петра и Елизаветы. Денщики, певчие, хохлы — вот их родоначальники, будь сказано не в упрек». Пушкин готов примириться с тем, если достоинство и государственная польза требуют возвышения человека. Но чувствуя свое принижённое положение среди этой сравнительно новой

аристократии, Пушкин возмущенно говорит: «Смешно только видеть в ничтожных внуках спесь, точно они потомки первого христианского барона Клермон-Тоннера».

Это настойчивое стремление Пушкина противопоставить значность своего рода материальному могуществу дворян с сомнительной родословной как раз и характерно для человека, которому осталось только цепляться за фикцию, не имеющую реального значения. Большой художник и знаток психологии различных дворянских групп, Тургенев говорит о своем разорившемся дворянине Чертопханове: «Чем хуже становились его обстоятельства, тем надменнее и высокомернее становился он сам». Вспомним великолепную сцену из рассказа «Чертопханов и Недолюскин», когда Чертопханов защищает своего приниженного приятеля от насмешек богатого барина, когда этот барин, спрусивший от зычного голоса Чертопханова, смущенно лепечет какое-то извинение, а Чертопханов гремит: «Я Пантелей Чертопханов, сполбовой дворянин, мой пращур царю служил, а ты кто?» Представьте себе Чертопханова человеком высокой культуры, к тому же проникнутым западноевропейскими идеями — и вы получите Кондрапия Рылеева с его исключительной ненавистью к «аристократии».

У Пушкина это ощущение эфемерности своего дворянского бытия принимало несколько иной характер и направление, чем у людей типа Рылеева, да Рылеев и не мог козырять значностью рода. Но все же Пушкин не прочь пострадать брата царя Николая I новым бунтом дворянской интеллигенции, обездоленной материально. Он говорит: «Что же значит наше старинное дворянство с именьями, уничтоженными бесконечными раздроблениями, с просвещением, с ненавистью противу аристократии и со всеми припязаниями на власть и богатство? Этакое страшное стихии мятежа не и в Европе. Кто был на площади 14 декабря? Одни дворяне. Сколько же их будет при новом возмущении? Не знаю, а кажется много».

В этих словах поэта скрыто несомненное противоречие. Возможный новый мятеж в его толковании принимает

резко выраженный классовый характер. Основной его побудительной причиной является «припязание на власть и богатство» обессиленной части русского дворянства. Но если мятеж принимает характер хотя и развернутого, но по существу внутриклассового антагонизма, — он не может быть «страшной стихией» для власти, ибо не опирается на широкие интересы народной массы.

Но Пушкина, в данном случае, интересовала не проблема революции в ее полном объеме, а характер умонастроения известной части русского дворянства, экономически бес- сильной, но несомненно представляющей интеллигенцию класса.

В статье «Разговор» Пушкин возмущается либераторами-плебейми, нападающими на дворянство. Он намекает в этой статье на то, что на «новое дворянство» направить стрелы журналистов было бы и не грех. Но получается наоборот: «Наши журналисты перед этим дворянством вежливы до крайности; они нападают именно на старинное дворянство, которое ныне, по причине раздробленных имений, составляет у нас род среднего состояния, состояния почтенного, трудолюбивого и просвещенного; состояния, к которому принадлежит и большая часть наших либераторов. Издеваться над ними (и еще в официальной газете «Северная пчела») нехорошо и даже неблагоприятно»...

Для данного исторического периода Пушкин был прав: интеллигенция (а о ней в сущности и идет у него речь) была преимущественно интеллигенцией дворянской. Но позволительно усомниться в том, что она состояла главным образом из людей со старинными дворянскими фамилиями. В этом утверждении сказывается уже сила субъективных переживаний поэта — родовитого помещика с «раздробленным имением» и с его двумястами душ, к тому же еще заложенных, крестьян.

Отношение Пушкина к исторически сложившимся материальным перегруппировкам в пределах дворянского класса наиболее определенным образом сказывается в его «Исторических заметках».

Преклоняясь перед Петром I, Пушкин всех остальных правителей, царствовавших после его смерти, называет «невежественными последователями северного исполина». В примечаниях к этим заметкам он говорит о безграмотной Екатерине I, кровавом злодее Бироне и сластолюбивой Елизавете.

Особенно в этих заметках Пушкин не скрывает своей ненависти к Екатерине II, давшей возможность, после произведенного дворцового переворота, продвигаться к власти и богатству многим людям весьма невысокого происхождения. «Возведенная на престол заговором нескольких мятежников,— говорит Пушкин,— она обогатила их на счет народа и унизила беспокойное наше дворянство». Обломок униженного рода, Пушкин говорит об эпохе Екатерины II как о презренном времени, «когда не нужно было ни ума, ни заслуг, ни талантов для достижения второго места в государстве». Список любимцев Екатерины II—это, по мнению Пушкина, список «обреченных презрению потомства... Екатерина знала плушни и грабежи своих любимцев, но молчала».

Отмечая лицемерный характер правления Екатерины II и спадания поработанного народа, Пушкин говорит также и о жертвах екатерининского правления—Новикове, Радищеве, Княжнине и Фонвизине.

В повести «Дубровский» писатель от прошлого переходит к настоящему: перед нами как бы жестокие последствия перегруппировки, совершившейся в ряде десятилетий, связанных с дворцовыми переворотами и развитием фаворитизма. Рассказанная Нащокиным Пушкину история о белорусском небогатом дворянине Островском, вытесненном из имени своим соседом, падала на весьма благоприятную почву. Но для Пушкина эта история об Островском все же была только фабулой будущего повествования. Характер сюжетного оформления этой фабулы всецело определялся тем, вытекающим из всех условий бытия, умонастроением поэта, на котором мы и остановились так подробно.

В повести «Дубровский» — представители трех категорий дворянского класса того времени, олицетворяемые образами Троекурова, Верейского и Дубровского.

Богатый помещик Троекуров — это представитель той части богатого дворянства, которая вышла из недр дворцовых переворотов и фаворитизма. Мы знаем теперь достаточно подробно, что Пушкин относился к этой категории с ненавистью и презрением.

Не надо смущаться словами «старинный русский барин», которыми начинается повесть. Эпитет этот по отношению к Троекурову можно понять только в условном смысле; здесь, как и в отрывке «Гости съезжались на дачу», Пушкин оставляет за представителями неродовитого, но богатого и властного дворянства звание «аристократии». Между прочим, надо иметь в виду, что повесть была Пушкиным не отделана и не закончена. По отношению к Троекурову в ней до самого последнего времени был один анахронизм, на который еще никто не обратил внимания. В новой редакции «Дубровского», сделанной Б. Томашевским, этот анахронизм устранен, но еще в редакции С. Венгерова (Пушкин, изд. Брокгауза, т. IV) он остался во всем своем несоответствии. Только то, что в предшествовавших изданиях напечатано просто, — в редакции С. А. Венгерова заключено в скобки, как слова, исключенные поэтом. Мы имеем в виду те строки, где Пушкин говорит о дружбе Троекурова и отца Дубровского в период их юности: «Славный 1762 год разлучил их надолго. Троекуров родственник княгини Дашковой пошел в гору». Сами по себе эти слова Пушкина очень интересны. Здесь он дает понять читателю, что Троекуров «пошел в гору» после дворцового переворота, устроенного Екатериной, как известно, при весьма активном участии Дашковой. В задачу Дашковой входило обрабатывать в агитационно-пропагандистском смысле в пользу переворота хотя бы часть родовитой аристократии, к которой она сама принадлежала. Но «родственник княгини» мог быть и не столь родовитым человеком. Если мы припомним по «Историческим заметкам» Пушкина об его

отношении к дворцовому перевороту Екатерины II, то, конечно, сразу поймем, что слова «славный 1762 год» нужно понимать только в ироническом смысле. Эти приведенные строки Пушкин выбросил, по всей вероятности, по двум причинам: во-первых, ирония могла быть непонята большинством читателей, а во-вторых, — и это самое главное, — слова эти порождают серьезный анахронизм.

Если предположить, что Троекуров в молодости пошел в гору благодаря дворцовому перевороту 1762 г., то надо думать, что ему было тогда хотя бы 20 лет. Следовательно, он как бы родился в 1742 г. Но во второй главе, где рассказывается, как Троекуров выиграл дело и отпятигал имение у Дубровского, мы видим, что в определении суда есть ссылка на указ 1818 г. Если предположить, что это событие относится, скажем, к 1820 г., то в результате выйдет, что в момент паязбы Троекурову было 80 лет. Между тем по одному из текстов видно, что Троекуров «пятидесятилетний старик», что как раз вполне соответствует его общему бодрому и бравому облику. Но и это еще не все. Из определения суда видно, что к спорному имению имел касание отец Троекурова, который, «волею божиею помер, а между тем он, проситель генерал-аншеф Троекуров, с 1782 года почти с малолетства находился на военной службе и по большей части был в походах и за границей». Если мы обратим внимание на подчеркнутые нами строки, т. е. примем 1782 г. как год малолетства Троекурова, то эта дата и приведет нас к двадцатым годам XIX в., к возрасту «пятидесятилетнего старика», что и необходимо по общему смыслу повести. И по этому же смыслу утрачивает всякий резон 1762 год, в который Троекуров, при нашем подсчете, не мог даже и родиться.

Но стремление Пушкина связать род Троекуровых с результатами дворцового переворота все же остается. Только это стремление приобретает в повести характер намека, до которого надо дойти путем умозаключения. В этом смысле большое значение приобретают такие строки

из большого определения суда (гл. II): «Из коего дела видно: означенный генерал-аншеф Троекуров прошлого 18... года июня 9-го дня взошел в сей суд с прошением о том, что покойный его отец коллежский ассесор и кавалер Петр Ефимов сын Троекуров 17... году (в редакции С. Венгерова более точно: 1759 г.) августа 14 дня, служивший в то время в... наместническом правлении провинциальным секретарем...» и т. д. Что это значит? Этот текст говорит нам о том, что приблизительно за три года до дворцового переворота Екатерины II отец «старинного русского барина» Троекурова был мелким провинциальным чиновником. Для нас несущественно, с помощью какого фаворита или фаворитки отец Троекурова «пошел в гору». Для нас важно общее положение насчет фаворитов и родственников, сформулированное в «Исторических заметках» Пушкина так: «Самые отдаленные родственники с жадностью пользовались кратким его царствованием. Отсюда произошли эти огромные имения неизвестных фамилий».

Этот текст заключения суда по тяжбному делу появляется впервые только в «Русской старине» 1887 г., кн. 9 и в изданиях Пушкина 1903 г. (одно — ред. Ефремова, другое — Морозова). Но уже в 1880 г. В. Ключевский говорил в своей речи на открытии памятника Пушкину: «Троекуровы родились при Елизавете, процветали в столице, дурили по захоlustвьям при Екатерине II, но посеяны они еще при Анне». (В. Ключевский, «Статьи и речи», т. II, изд. 1919 г., стр. 63.) Проницательный читатель-историк, не имея полного текста повести, только предположительно устанавливает восходящую линию рода Троекуровых, но это уже не имеет существенного значения. Здесь важно, к какому общественному типу, по мнению историка, должен быть отнесен Троекуров.

На этот счет в самой повести во всех изданиях есть еще одно указание, дающее представление об условной знатности рода Троекуровых. В главе XIII, где князь Вейский просит Троекурова приехать к нему в гости, «гордый Троекуров обещался, ибо, взяв в уважение княже-

ское достоинство, две звезды и 3 000 душ родового имени, он до некоторой степени почитал князя Верейского равным себе».

В образе Троекурова, вопреки мнению некоторых полководцев «Дубровского», Пушкин показал не просто обычного представителя крупного помещичьего землевладения, с его достоинствами и недостатками, а худший тип помещика-крепостника. Конечно, великий поэт, как и каждый большой художник, понимал, что если сделать Троекурова полным злодеем во всех смыслах, то образ потеряет свою художественную убедительность. Ведь самый свирепый палач может любить свою родную дочь и самый жестокий самодур может питать к кому-нибудь приятельское чувство. Сделай, например, Пушкин Троекурова к тому же до жадности корыстолюбивым, которому какая-то Кистеневка нужна сама по себе, и это было бы уже сгущение темных тонов, совершенно ненужное для художественной характеристики общего резко отрицательного облика Троекурова. В основном Троекуров остается невежественным, жестоким и развратным человеком. Припомним те строки из первой главы повести, которые Пушкин, если и имел намерение выбросить, то, вероятно, по цензурным соображениям. «Редкая девушка из его дворовых избегала сластолюбивых покушений пятидесятилетнего старика». Гарем из шестнадцати молодых затворниц, из которых некоторые выдавались замуж, а «новые поступали на их место», уже дает определенное представление об облике Троекурова. Далее идет его «строгое и своенравное отношение к крестьянам». Ему достаточно съесть не по вкусу приготовленный обед, чтобы избить повара. В общем Троекуров открывает в русской художественной литературе галерею тех отвратительных угнетателей крестьян и разной мелкоты, которые потом проходят в произведениях Тургенева, Герцена, Григоровича и Салтыкова.

Самодурство Троекурова принимает уже исключительно жестокий характер в забаве с медведем. Надо представить себе этого бедного гостя с оборванной

полою, до крови исцарапанного, отыскивающего безопасный угол и затем три часа стоящего прижатым к стене перед лицом разъяренного зверя, чтобы оценить по достоинству отвратительного виновника этой «лучшей штучки». И разве не чувствуется глубочайшее презрение поэта к Троекурову, выраженное в сдержанных иронических словах: «Таковы были благородные увеселения русского барина».

Совершенно иначе Пушкин относится к князю Вере́йскому. Этот представитель крупного землевладения является вместе с тем и родовитым аристократом. Обломок униженного рода и владелец небольшого «раздробленного имения», Пушкин видит в князе Вере́йском уцелевшего от материального крушения представителя дворянской культуры. Психологически князь Вере́йский, конечно, более близок Пушкину, чем невежественный Троекуров, «никогда не читавший ничего, кроме книги «Совершенной поварихи».

В князе Вере́йском имеются определенно онегинские черты: «он имел непрестанную нужду в рассеянии и непрестанно скучал». На Машу Троекурову этот пятидесятилетний князь произвел совсем не плохое впечатление. Оживленный ее присутствием, Вере́йский «был весел и успел несколько раз привлечь ее внимание любопытными своими рассказами». Во время прогулки Марья Кирилловна «с удовольствием слушала льстивые и веселые приветствия светского человека». В гостях у Вере́йского «Марья Кирилловна не чувствовала ни малейшего замешательства или принуждения в беседе с человеком, которого видела она только во второй раз отроду». После катания на озере она, вместо хозяйки, разливала чай, «слушая неистощимые разговоры любезного говоруна». Так, настойчивым подбором ряда черт, Пушкин говорит о способности Вере́йского быть очаровательным.

И только после того как, не дав укрепиться этому чувству симпатии, Вере́йский сделал предложение Маше Троекуровой, опираясь на власть ее отца, «он вдруг показался ей отвратительным и ненавистным». Но это, как известно, не помешало Маше Троекуровой признать бесповоротность своей судьбы после совершенного брака с Вере́йским.

Вскользъ брошенным намеком Пушкин дает понять читателю, что отношения Верейского к своим крепостным крестьянам тоже совсем не плохи. Подъезжая к Арбатову, имению Верейского, Троекуров «не мог не любоваться частыми и веселыми избами крестьян». И наконец уровень высокой культуры Верейского Пушкин отмечает такими словами: «Потом они занялись рассмотрением галереи картин, купленных князем в чужих краях. Князь объяснял Марье Кирилловне их содержание и историю живописцев, указывал на достоинства и недостатки, он говорил о картинах не на условленном языке педантического знатока, но с чувством и воображением. Марья Кирилловна слушала его с удовольствием».

Таково любопытное распределение света и теней в облике европейски образованного старинного дворянина Верейского и грубого, жестокого и невежественного Троекурова — представителя той знати, которая вышла из эпохи фаворитизма. Это сопоставление отчетливо говорит нам, что дворянская действительность, изображенная в повести, проходила через призму своеобразного умонастроения Пушкина.

Образ Маши Троекуровой является в повести второстепенным. А. Яцимирский даже полагает, что Марья Кирилловна — только фон. Ее роль — чисто служебная. «Ни на минуточку в ней не чувствуется самоудовлетворяющей ценности». Но это не совсем так. В сжатом повествовании Пушкина ей отведена почти вся восьмая глава, из которой виден любимый поэтом образ юной мечтательницы. Как и Татьяна Ларина, Маша Троекурова «не имела подруг и выросла в уединении» и так же воспитывалась на сентиментальных романах западной литературы. Но, в отличие от Татьяны, Пушкин более определенно вскрывает в Маше Троекуровой кастовые черты, характерные для дочери крупного помещика. Пушкин объясняет, почему Дубровский при первом появлении в доме Троекуровых не произвел на нее впечат-

ления: «Маша не обратила никакого внимания на молодого француза, воспитанная в аристократических предрассудках, учитель был для нее род слуги или мастерового, а слуга иль мастеровой не казался ей мужчиной». Но когда Дубровский в истории с медведем проявил свою отвагу и хладнокровие, она впервые увидела, «что хребтосць и гордое самолюбие не исключительно принадлежат одному сословию — и с тех пор стала оказывать молодому учителю уважение, которое час от часу становилось внимательнее».

Здесь Пушкин, с одной стороны, говорит о том, что это расширение жизненного опыта благотворно подействовало на юную Троеурову, а с другой — поэт лишний раз утверждает значение дворянской интеллигенции, т. е. благородство ума и характера, в отличие от фиктивного благородства материально могущественной «аристократии».

Образ Дубровского, по общему признанию, далек от художественного совершенства. Начиная от Белинского, который видел в Дубровском лицо мелодраматическое, кончая пушкинистом Н. Лернером, отметившим бесцветность фигуры главного героя произведения, — все говорят в этом смысле о невидержанности повести. Но при оценке этого произведения в целом необходимо иметь в виду, что Пушкин, с одной стороны, завершает романтическую традицию, а с другой — является новатором реалистом. Повесть появилась в печати в 1841 г., т. е. через девять лет после ее написания и четыре года спустя после смерти поэта. За это время реалистическое направление, нашедшее в Гоголе высшую точку своего развития, определило и взгляды наиболее влиятельной литературной критики на художественную ценность повести великого поэта. Начав с весьма значительных страниц первых глав, знаменующих появление яркого реалистического произведения, Пушкин переходит на проторенный тогда путь романтико-авантюрного жанра. Но и в дальнейшем страницы, где Дубровский фигурирует в виде

персонажа традиционных разбойно-рыцарских повестей, переплетаются со страницами большого социального значения. По всему видно, что творческое горение великого писателя было именно на тех страницах, где он художественно объективировал свое отношение к окружающей его помещико-дворянской действительности.

Какое напряженное писательское внимание видно со стороны Пушкина в тех местах произведения, где он стремится вскрыть злобный общественный смысл изображаемых явлений! Давая во второй главе текст «определения суда», писатель стремится к полной правдивости в изложении судебного процесса. Известно, что Пушкин в этом отношении пользовался указаниями одного московского юриста — ловкого практика. В письме к Нащокину от 2 декабря 1832 г., где Дубровский еще называется Островским, т. е. подлинным мелкопоместным дворянином-бунтовщиком, Пушкин говорит об окончании части повести: «Честь имею тебе объявить, что первый том Островского кончен и на-днях прислан будет в Москву на твое рассмотрение и под критику Г. Короткого». («Переписка», т. II, изд. Акад. Наук, стр. 398.) Идя к художественному реализму, писатель несомненно стремился и к общественно-принципиальному обоснованию своего взгляда на явления дворянского внутриклассового антагонизма. Это видно по следующему вступлению к определению суда: «Мы помещаем его вполне, полагая, что всякому приятно будет увидеть один из способов, коими на Руси можем мы лишиться имени, на владение коим имеем неоспоримое право».

Взбунтовавшийся дворянин Островский потому так и захватил воображение Пушкина — обедневшего дворянина, что он видел в деле Островского торжество дворянской крупнопомещичьей знати, к услугам которой продажная полицейская власть. Поэт, испытавший на себе, что такое высокомерие этой знати, сочувствует Островскому, а потому при обработке художественного образа делает этот образ интимно близким себе, превращая его в Ду-

бровского. Мы имеем в виду те страницы повести, где Дубровский имеет черты реального героя произведения. Вспомним в данном случае указанное выше замечание Л. Толстого о художнике, изображающем свою собственную душу.

Эту интимную близость образа Дубровского к Пушкину можно установить по некоторым интересным признакам. Так, например, образ Егоровны, няни Дубровского, весьма напоминает образ пушкинской Арины Родионовны. Н. Лернер сопоставил подлинное письмо Арины Родионовны к Пушкину с письмом Егоровны к Дубровскому и открыл поразительные черты сходства. Не станем приводить текста этих сопоставлений. Приведем только вывод Н. Лернера: «Сходство между обоими приведенными письмами бросается в глаза сразу. Оно не ограничивается одним общим тоном, выражающим сердечную любовь и привязанность престарелой пестуньи к питомцу, одним и тем же языком, удивительно народным и живым, из родника которого зачерпнул столько прелести наш великий мастер слова, но идет дальше и доходит до общих выражений». (Пушкин и его современники, вып. VII, стр. 68—70.)

Не менее интересно сходство текстуальное между одной из страниц «Истории села Горюхина» и страницей из «Дубровского». Можно определенно сказать, что пейзаж Горюхина — это картина села Болдина — разоренного имения отца Пушкина. «Через 10 минут въехал на барский двор; сердце мое сильно билось; я смотрел вокруг себя с волнением необыкновенным; восемь лет не видал я Горюхина. Березки, которые при мне посажены были около забора, выросли и стали теперь высокими ветвистыми деревьями. Двор, некогда украшенный тремя правильными цветниками, меж которых шла широкая дорога, усыпанная песком, теперь обращен был в нескошенный луг, на котором паслась бурая корова». Все это место из «Истории села Горюхина» почти слово в слово переходит в третью главу «Дубровского» — в то место этой главы, где рассказывается, с каким «волнением неописанным» въезжал

молодой Дубровский в свое родное село¹. Наконец вспомним прекрасные волнующие страницы пятой главы, где Пушкин изображает переживания Дубровского после похорон отца, когда, чтобы заглушить душевную скорбь, он сначала идет не разбирая дороги, а затем сидит на холодном дерну, среди деревьев, полуобнаженных осенью, — и поймем лирическую настроенность великого поэта при писании ряда проникновенных страниц этой повести.

Но несмотря на все это, Пушкин, как и герой его повести, остается всецело в пределах внутриклассового антагонизма. К повести «Дубровский» вполне подходят слова Белинского, сказанные великим критиком по отношению к «Евгению Онегину»: Пушкин «нападает в этом классе на все, что противоречит гуманности; но принцип класса — для него — вечная истина...» Это не исключает мотивов общечеловеческих в творчестве Пушкина вообще, но нас сейчас интересует исключительно удельный вес социального протеста экспроприированного помещичьего дворянина Дубровского и идеология великого художника — апологета этого протеста.

Рассказывая о юных годах Дубровского, Пушкин дает понять читателю, что жизнь героя повести совсем не предвещала будущего протестанта. Корнет гвардии Дубровский был «распачителен и честолобив, он позволял себе роскошные прихоти, играл в карты и входил в долги, не заботясь о будущем и предвидя себе рано или поздно богатую невесту, мечту бедной молодости». Если мы припомним сообщения Пушкина («Мысли на дороге») и Гакстгаузена о переходе части дворянской собственности в руки буржуазии, то можем представить себе эту «мечту бедной молодости» Дубровского в виде дочери купца или фабриканта. Но для этого молодому Дубровскому необходимо сохранить свою хотя бы и мелкопоместную устойчивость. Между тем вражда с Троекуровым сразу выбивает почву из-под его ног, ибо он понимает, что «бедное достояние

¹ На это сходство первый обратил внимание Д. Благой в своей статье «Миф о декабристах». («Печ. и рев.», 1926 г., кн IV.)

могло опойти от него в чужие руки — в таком случае нищета ожидала его». Пушкин достаточно ясно дает понять, что этот страх нищеты тяготеет над ним. И когда наконец с препетом ожидаемое совершилось — судьба толкает его на путь социального протеста. И всё же первоначально Дубровский ни о каком бунте не думает. После наглых речей заседателя Шабашкина начинается возмущение крестьян. Дубровский пресекает это возмущение: «Дураки, что вы это? Вы губите и себя и меня — ступайте по домам и оставьте меня в покое. Не бойтесь, государь милослив, я буду просить его — он нас не обидит — мы все его дети, — а как ему за вас будет заступаться, если вы станете бунтовать и разбойничать».

Но вера в возможность законного пути рушится. Политически лояльный, Дубровский вступает на путь активной борьбы с земельной аристократией. И вот здесь, на этом пути, Пушкин рекомендует своего героя как весьма умеренного человека, совсем не помышляющего об уничтожении коренных социальных основ помещичьей власти. В седьмой главе мы читаем: «Несколько проек, наполненных разбойниками, разъезжали днем по всей губернии — останавливали путешественников и почту, проезжали в села, грабили помещичьи дома и предавали их огню. Начальник шайки славился умом, отважностью и каким-то великодушием». Оставим без рассмотрения то несообразное обстоятельство, что ради композиционных целей повесили дом Троекурова вообще остался пощаженным, и рассмотрим поведение Дубровского по его принципиальному существу.

Программа Дубровского и вытекающие из нее действия вскрываются перед нами особенно ясно в главе девятой, когда он, в виде замаскированного генерала, внушает помещице Анне Савишне правильные представления о действиях Дубровского: «Я слышал, что Дубровский нападает не на всякого, а на известных богачей, но и путь делится с ними, а не грабит дочиста».

Эта скромная программа «разбойника» Дубровского, великодушно возвратившего Анне Савишне две тысячи руб-

лей, ясно говорит о чисто внутриклассовом характере активного протеста Дубровского. Дело идет лишь о распределении материальных благ в пределах дворянского класса. Крепостные крестьяне в этой борьбе играют исключительно роль орудия — слепой стихийной силы, рабски повинующейся своему господину. Достаточно повелительного слова Дубровского, чтобы знатный богатей помещик проследовал в своей свадебной карете дальше целым и невредимым.

Весь характер «разбоя» Дубровского, хотя и вызывает понятную тревогу среди помещиков, но все же не имеет ничего общего с уничтожением дворянского уюта во времена крестьянских восстаний. Богатый князь Верейский на вопрос Троекурова относительно нападения Дубровского на его княжеское имение Арбатово беззаботно отвечает: «Да, прошлого году он, кажется, что-то сжег или разграбил».

Но поскольку Дубровский собственной силой стремится восстановить нарушенную справедливость, — он не может в глазах власти не быть бунтовщиком.

В тот момент, когда Дубровский вступает на путь борьбы с правительственными войсками, когда «он подошел к офицеру, приставил ему пистолет к груди и выстрелил», — в этот момент его социальный протест объективно превращается в протест политический. Но эта борьба настолько неравная, что для Дубровского могло быть только два выхода: или попытаться объединить для этой борьбы широкие крестьянские массы, — для чего пришлось бы отказаться от узкого классового понимания борьбы и сделаться идеологом и вдохновителем гнева замученных крепостных рабов, — или распустить своих крестьян* и самому скрыться. К первой задаче Дубровский совсем не имеет призвания. Он выбирает второй выход. После его исчезновения «пожары и грабежи прекратились сами собой».

Изображая крестьян, Пушкин в повести подчеркивает лишь их исключительную преданность своим господам. Это

относится одинаково как к крестьянам Троекурова, так и Дубровского. И только кузнец Архип, изображенный гениальным мастером слова, дает нам понятие о силе крестьянского гнева к угнетателям. Вопреки Дубровскому Архип оставляет запертыми двери, и полиция во главе с исправником гибнет в огне. Конец этой, шестой, главы приобретает сейчас, при толковании событий великой революции, громадную важность. Кузнец Архип, спокойно глядящий на гибель людей в огне пожара и спасающий погибающую кошечку, как «божью тварь», с изумительной ясностью вскрывает сложность переживаний угнетенной народной массы: страшная жестокость к своим классовым врагам не исключает одновременной любви и сострадания не только к угнетенному человеку, но даже и к гибнущей кошке.

Отношение Дубровского к этой крестьянской массе ни в какой мере не напоминает отношения руководителя народного восстания, считающего себя составной частью возмущенного коллектива. Для Дубровского крестьяне являются лишь средством в его борьбе с крупными землевладельцами. И когда наступает момент ликвидации мятежа, он распускает свои опряды, ибо они ему уже больше не нужны. И разве не слышны ноты чисто дворянского высокомерия в таких словах Дубровского: «Вы разбогатели под моим начальством, каждый из вас имеет вид, с которым безопасно может обратиться в какую-нибудь отдаленную губернию и там провести остальную жизнь в честных трудах и изобилии. Но вы все мошенники и, вероятно, не захотите оставить ваше ремесло».

Из недавно опубликованных бумаг Пушкина видно, что поэт предполагал окончить повесть конспиративным и уединенным пребыванием Дубровского в Москве. Здесь форейтор героя повести попадает в буйстве и доносит на своего барина обер-полицеймейстеру. Если бы такой прозаический финал был написан, он окончательно сбросил бы незаслуженный ореол выразителя народного гнева, которым окружили героя повести Пушкина некоторые

истории литературы; но и без этого финала сущность внутриклассового антагонизма достаточно вскрывается при внимательном разборе повести Пушкина, насыщенной большим социальным содержанием.

Мы очень подробно остановились на том важном обстоятельстве, что это чувство внутридворянского антагонизма в значительной мере было родственно самому великому поэту. Отсюда и та несомненная идеализация Дубровского, которая еще и до сих пор мешает правильному пониманию сокровенного смысла этой замечательной повести.

ПУШКИНСКАЯ КОМИССИЯ
ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

ПУШКИН

СБОРНИК ВТОРОЙ

Редакция Н. К. ПИКСАНОВА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1930 ЛЕНИНГРАД